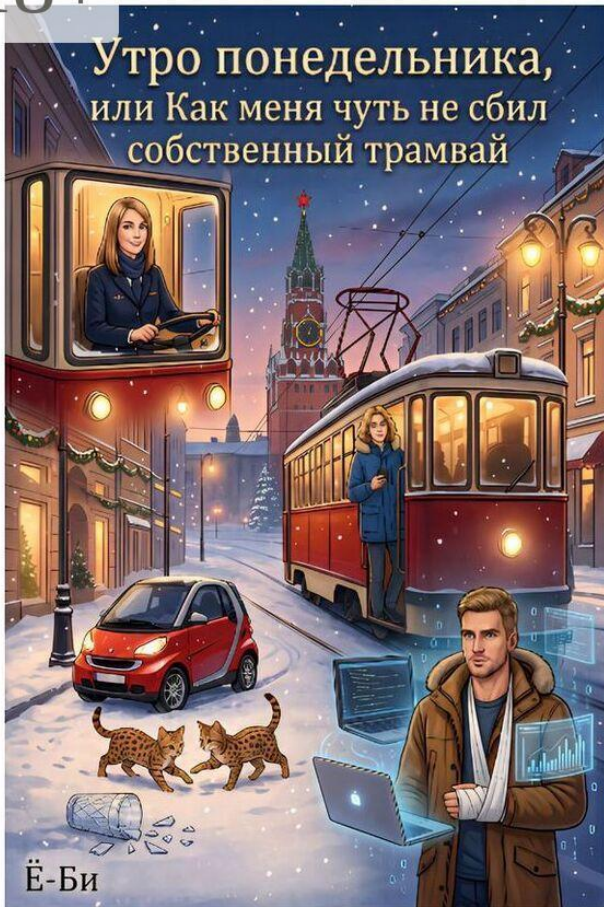


18+

Утро понедельника, или Как меня чуть не сбил собственный трамвай



Ё-Би

Ё-Би Ё-Би

Утро понедельника, или

Как меня чуть не сбил

собственный трамвай

<https://litres.ru/74588658>

ISBN 9785007136235

Аннотация

Виктория Непоседа — женщина сорока двух лет, водитель трамвая с двенадцатилетним стажем, живущая в двухкомнатной квартире на Липецкой улице, на десятом этаже, у самого МКАДа. Её жизнь проста и предсказуема: смена за сменой, маршрут семнадцатого, два породистых котёнка-аристократа (Кубик и Ая) и сын-студент Артём, которого она привыкла считать ещё ребёнком.

Но в одно декабрьское утро всё летит кувырком.

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	27
Глава 3	50
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Утро понедельника, или Как меня чуть не сбил собственный трамвай

Ё-Би

© Ё-Би, 2026

ISBN 978-5-0071-3623-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Виктория Непоседа — женщина сорока двух лет, водитель трамвая с двенадцатилетним стажем, живущая в двухкомнатной квартире на Липецкой улице, на десятом этаже, у самого МКАДа. Её жизнь проста и предсказуема: смена за сменой, маршрут семнадцатого, два породистых котёнка-аристократа (Кубик и Ая) и сын-студент Артём, которого она привыкла считать ещё ребёнком.

Но в одно декабрьское утро всё летит кувырком. Сын звонит с просьбой купить бинты: его «странный друг» Стас порезал руку о стакан. Обычная, казалось бы, бытовая случайность оборачивается началом настоящего детектива. Виктория, вопреки своей воле, оказывается втянутой в историю с

подпиленным хрусталём, слежкой, жучком под бампером её красного Smart и загадочным «Димой Крыловым», которого... не существует.

Вдобавок выясняется, что за спиной у всех прячется могущественный и опасный Дмитрий Сергеевич Ковалёв — человек, который «решает вопросы» и не привык, чтобы ему мешали. И теперь Виктории, её сыну и его парню Стасу предстоит не просто раскрыть чужую аферу, а защитить самое дорогое — свою семью.

Ироничный, тёплый и по-настоящему захватывающий роман о том, как обычная женщина из-за случайно разбившегося стакана становится частным сыщиком. История о семейных тайнах, настоящей любви, верности и о том, что в сорок два года жизнь только начинается.

Глава 1

Если вам когда-нибудь скажут, что утро понедельника — это прекрасное время для начала новой жизни, плюньте этому человеку в лицо. елательно метко, чтобы попал прямо в середину лба, потому что утро понедельника — это не начало жизни, а её натуральная агония, свидетелем которой я, Виктория Непоседа, имела несчастье являться каждую неделю на протяжении последних двенадцати лет.

Меня зовут Виктория Непоседа. Фамилия у меня, как вы понимаете, говорящая. В моей семье все были Непоседами, и, судя по всему, родоначальник династии был тем ещё живчиком — этаким казаком-разбойником, который не мог усидеть на месте дольше пяти минут. Мне от него досталось одно-единственное наследство: способность влипать в неприятности с космической скоростью и стойкое неумение выбираться из них без потерь. Ну и ещё фамилия, куда ж без неё.

Впрочем, обо всём по порядку.

Итак, утро понедельника в самой середине декабря. На улице стояла та самая мерзкая московская погода, которую синоптики в своих прогнозах деликатно называют «переменной облачностью с осадками», а нормальные люди называют

просто и без экивоков: «Господи, ну и гадость же на улице». Температура скакала где-то вокруг нуля, что означало одно — под ногами не то снег, не то вода, не то какая-то злоедающая субстанция, которую в лучшем случае можно было бы использовать вместо раствора для цемента. Небо висело над городом низко-низко, такое серое и тяжёлое, будто кто-то сверху расстелил старое ватное одеяло, из которого вытряхнули всё, что только можно, и теперь оно сочилось мокрым снегом, дождём и всеобщей безысходностью.

Мой будильник, эта адская машина пыток, зазвонил ровно в пять утра. Почему так рано? А потому, что я — водитель трамвая. Да-да, не смейтесь. женщина сорока двух лет от роду, водитель трамвая номер семнадцать, который курсирует по югу Москвы, развозя по утрам сонных граждан, а по вечерам — граждан усталых и раздражённых. Кто-то мечтает в детстве стать космонавтом, кто-то балериной, а кто-то, как я, в двенадцать лет увидел красивый красный трамвай, звенящий по рельсам, и решил: «Вот оно. Моё призвание». Мечта сбылась, как говорится, в полном объёме. Теперь в моём распоряжении четырнадцать метров звенящего железа, два рычага и неограниченный запас раздражения на всех, кто пытается перебежать рельсы в неподобающем месте.

Квартира моя располагалась на улице Липецкой любимого Бирюлево на десятый этаже. Обычная такая панельная

двухкомнатная квартира, из тех, что строили в конце восьмидесятых для рабочих и их семей. Район у нас не элитный, прямо скажем. Липецкая улица упирается прямо в МКАД, и летом, когда открываешь окна, слышно, как по кольцевой шумят тысячи машин, а зимой, когда окна закрыты, этот шум превращается в неясный гул, к которому настолько привыкаешь, что в тишине уже не можешь заснуть.

Квартирка у нас скромная, но уютная. Две комнаты, кухня восемь с половиной метров, прихожая, в которой при желании можно было бы развернуться разве что боком, и небольшие ванная комната и туалет, где я каждый раз благодарю судьбу за то, что я не слон. Обои в большой комнате — в цветочек, клеила их ещё моя мама лет пятнадцать назад, и за эти годы они приобрели благородный оттенок выцветшей старины, который дизайнеры называют «винтаж», а нормальные люди — «пора бы уже переклеить». Мебель — старый, но добротный гарнитур, купленный на заре моей семейной жизни: диван, два кресла, стенка с сервантом, в котором за стеклом пылился бабушкин хрусталь — пить из него всё равно никто не собирался, но выбросить рука не поднималась.

На подоконнике в кухне стояла моя гордость — фикус Бенджамина, который я растила уже лет семь, и который, вопреки всем законам ботаники, был жив, здоров и даже, кажется, собирался зацвести, хотя фикусы в принципе не цве-

тут в домашних условиях. Но мой, видимо, об этом не знал.

И, конечно, главные обитатели квартиры, ради которых, собственно, и стоило возвращаться домой, — мои котики. Кубик и Ая. Порода у них была какая-то заморская, Саванна, или, как её ещё называют, Ашера. Честно говоря, я в кошачьих породах разбираюсь примерно так же, как в квантовой физике, то есть никак. Но котята были чудесные. Кубик — мальчик, наглый, рыжий, с пятнистой шерстью и таким взглядом, будто это не он живёт у меня, а я у него, и вообще он меня временно приютил из жалости. Ая — девочка, нежная, грациозная, с огромными янтарными глазами, в которых, казалось, отражалась вся мудрость кошачьего мира.

Им было по три месяца, и за эти три месяца они успели: содрать обои в прихожей, свалить фикус (дважды), устроить потоп в ванной, опрокинув тазик, и съесть мою зарплатную ведомость, которую я по рассеянности оставила на столе. В общем, вели полноценную, насыщенную кошачью жизнь.

Подарил мне этих зверей... нет, не мне. Сыну. Артёму. На его день рождения, два месяца назад. А подарил их, собственно, тот, кого я на дух не переносила, — Стас, друг моего сына. О Стасе разговор особый, и я к нему ещё вернусь, обещаю. Но если коротко: этот Стас был для меня загадкой похуже Бермудского треугольника. Взрослый мужик, двадцать

пять лет, работает каким-то там аналитиком в крупном ритейле, ездит на дорогущей машине цвета тёмной вишни, живёт в трёхкомнатной квартире на Пролетарском проспекте... и дружит с моим восемнадцатилетним сыном. Дружит так, что аж подозрительно. Я, конечно, не из тех мамаш, которые в каждом друге сына видят маньяка, но эта «дружба» мне не нравилась. Ой как не нравилась. Слишком уж разница в возрасте большая. Слишком уж Стас обходительный с Тёмой. Слишком уж подарки дорогие дарит.

Впрочем, об этом позже. Всему своё время.

Итак, пять утра. Будильник надрывался так, будто от его звонка зависела судьба человечества. Я нашарила его рукой, не открывая глаз, и с размаху стукнула по кнопке. Тишина. Блаженная, но, увы, короткая. Потому что в ту же секунду мне на грудь с разбегу приземлился Кубик.

— Мяу, — сообщил он мне тоном, не терпящим возражений. В переводе с кошачьего это означало: «женщина, подъём. Ты что, забыла? Нас надо кормить, лоток чистить, а ещё я, кажется, слышал, как за окном пролетела птица, и её надо немедленно поймать, а для этого открыть окно, но открывать окно нельзя, потому что холодно, но птицу всё равно надо поймать».

— Встаю, встаю, — пробормотала я, сталкивая с себя пятилистного наглеца.

За окном было темно, как в погребу. В декабре светает поздно, часов в девять, а то и позже, так что зимние утра для водителя трамвая — это отдельный вид экзекуции: выходишь из дома в темноту, а возвращаешься тоже в темноту. Солнце видишь только в выходные, и то если повезёт и не будет тумана.

Я кое-как выбралась из-под одеяла, нащупала тапочки и поплелась на кухню. По дороге чуть не наступила на Аю, которая, как и положено породистой кошке, вальяжно растянулась поперёк коридора, всем своим видом показывая, что уступать дорогу не собирается ни при каких обстоятельствах.

Кухня встретила меня привычным уютным полумраком. Я щёлкнула выключателем, и под потолком зажглась лампа дневного света, которая по обыкновению сначала помигала, потрещала, а уж потом соизволила разгореться в полную силу, залив кухню мертвенно-белым светом, от которого лицо в отражении чайника выглядело так, будто я всю ночь не спала. Что, впрочем, было недалеко от истины.

Я поставила чайник, насыпала котикам корм — Кубику

с индейкой, Ае с лососем, потому что у этих аристократов, видите ли, разные вкусовые предпочтения, — и села на табурет, уставившись в окно невидящим взглядом.

За окном по-прежнему лило, сыпало, дуло и вообще происходило всё то, что принято называть «мерзкая погода». Двор был пуст. Только вдалеке, на фоне серого неба, светились огни МКАДа — бесконечная лента фар, уходящая в никуда. Машины, машины, машины... Иногда мне кажется, что Москва давно превратилась в одну огромную парковку, по которой между автомобилями каким-то чудом пробираются пешеходы.

Мой собственный автомобиль стоял во дворе и, судя по всему, тихо ненавидел эту погоду. Smart Fortwo второго поколения, две тысячи тринадцатого года выпуска, комплектация Passion, двигатель один литр, семьдесят одна лошадиная сила, бензин, коробка роботизированная, привод задний, кузов хэтчбек три двери, красного цвета. В общем, не машина, а мечта. Точнее, мечта того, кто никогда не видел нормальных машин. Но мне моя крошка нравилась. Она была маленькая, юркая и смотрела на мир своими круглыми фарами с таким удивлением, будто каждый раз, когда я заводила двигатель, искренне поражалась: «О, мы куда-то едем? Правда? Ну поехали!»

Машину я свою обожала, потому что она была такой же непоседливой, как и я. Ну и ещё потому, что парковаться на ней можно было в любой щели — а учитывая, что наш двор был заставлен машинами так, что даже пешком пройти было сложно, это качество ценилось на вес золота.

Чайник щёлкнул, извещая о готовности. Я заварила себе кофе — растворимый, потому что на заваривание нормального утром у меня не было ни времени, ни желания, — и устоялась в окно, прикидывая, во сколько мне сегодня выходить, чтобы не опоздать на смену.

Работала я в трамвайном депо, которое располагалось относительно недалеко, минут двадцать на машине, если, конечно, не попасть в пробку. А пробки в Москве утром понедельника — это не пробки, это стихийное бедствие, к которому все настолько привыкли, что уже и не замечают.

Допив кофе, я взглянула на часы. Полшестого. Пора собираться.

Я быстро умылась, кое-как привела волосы в порядок — каштановые, выующиеся, вечно торчащие в разные стороны, — и натянула свой рабочий комбинезон. Да-да, водитель трамвая — это вам не модель на подиуме. Комбинезон, ботинки, шапка, перчатки. В таком виде меня можно было при-

нять за кого угодно: за сантехника, за дорожного рабочего, за женщину, которая собралась чинить крышу. Но только не за водителя трамвая. Хотя, по большому счёту, какая разница?

Перед выходом я заглянула в комнату к сыну.

Артём спал, свернувшись калачиком под одеялом, и во сне выглядел совсем ребёнком. Хотя какой он ребёнок — восемнадцать лет, студент колледжа, IT-специалист в области аналитики. Вымахал. Правда, в высоту не очень — сто шестьдесят сантиметров, и это, как он сам говорит, его «маленькая особенность». Зато какие глаза — большие, голубые, выразительные, такие, что хоть сейчас в кино сниматься в роли ангела. Волосы у него кудрявые, светлые, до плеч. Сейчас, как я понимаю, это модно — длинные волосы у парней. Я, честно говоря, не очень понимала эту моду, но сына не пилила. Хочет носить длинные кудри — пусть носит. Худой, стройный, весь какой-то... женственный, что ли. Но опять же, я это списывала на молодёжную моду. Сейчас все такие. Или мне так казалось.

— Тёма, я на работу, — прошептала я в темноту комнаты.

В ответ раздалось невнятное мычание, из которого я разобрала только «м-м-м-м» и что-то похожее на «будильник поставь».

— Поставила. Вставай в девять, пары у тебя в одиннадцать. Ключи на кухне, котикам еду не давай, я уже покормила.

Снова мычание.

Я тихонько прикрыла дверь и вышла в прихожую. Кубик проводил меня до двери и уселся на коврик, глядя на меня с таким выражением, будто я бросаю его одного на произвол судьбы и ухожу навсегда.

— Не скучай, бандит, — шепнула я ему и вышла в подъезд.

Подъезд нашего дома был тем ещё произведением искусства. Панельная двенадцатизэтажка... то есть, постойте, девятиэтажка. Так вот, подъезд у нас был обычный, советский, с обшарпанными стенами, выкрашенными зелёной краской ещё при Брежневе, с почтовыми ящиками, на которых кто-то вечно писал нецензурные слова, и с лифтами, которые ездил с таким звуком, будто внутри него живёт привидение и страдает от несварения.

Я вызвала лифт. Кабина приехала, кряхтя и поскрипывая, двери разъехались, и я шагнула внутрь. На полу лифта кра-

совалась надпись, сделанная маркером: «Вася + Лена = любовь». Под ней кто-то дописал другим цветом: «А Вася-то уже с Мариной». Народное творчество, ничего не поделаешь.

На первом этаже пахло сыростью и чем-то отдалённо напоминающим кошачью мочу. Я вышла на улицу и тут же получила в лицо порыв ледяного ветра с мокрым снегом.

Погода, как я уже говорила, была отвратительная.

Двор встретил меня лужами, слякотью и мокрым снегом, который падал с неба крупными хлопьями и тут же таял, превращаясь в грязную кашу под ногами. Машины во дворе стояли такие заснеженные, будто их не мыли с прошлой зимы. Мой красный Smart сиротливо притулился между двумя внедорожниками, и его почти не было видно за сугробом.

Я смахнула снег с лобового стекла, села в машину, повернула ключ. Двигатель чихнул, покашлял и завёлся. Молодец, крошка.

До депо я добралась без приключений, если не считать того, что на одном из перекрёстков меня подрезала какая-то наглая иномарка, водитель которой, судя по всему, считал, что правила дорожного движения написаны не для него. Я

посигналила ему вслед, хотя прекрасно понимала, что это бесполезно — такие, как он, реагируют только на одно: на встречу с бетонной стеной.

В депо меня встретил привычный шум и гомон. Наше депо — это такое место, где всегда пахнет машинным маслом, металлом и почему-то жареными пирожками из столовой. Утренняя смена уже собиралась, водители переговаривались, пили чай, кто-то рассказывал анекдот, кто-то жаловался на погоду.

— Вика, привет! — помахал мне рукой Иван Петрович, наш старший мастер, мужик лет шестидесяти с такими усами, что им позавидовал бы сам Будённый.

— Доброе утро, Иван Петрович, — кивнула я.

— Ну что, сегодня твой семнадцатый. Маршрут обычный. Смотри, на линии гололёд, вчера на Чертёжной улице один наш чуть с рельсов не сошёл. Будь аккуратнее.

— Буду, — пообещала я.

Гололёд для трамвая — это, конечно, не самое страшное, что может случиться. Самое страшное — это водители, которые не понимают, что трамвай не может затормозить мгновенно.

венно, и лезут на рельсы прямо перед носом. За двенадцать лет работы я насмотрелась на такое, что впору писать отдельную книгу под названием «Почему люди такие идиоты на дороге».

Мой трамвай, номер семнадцать, стоял в депо, поблёскивая красными боками под светом ламп. Я обошла его по кругу, проверила всё, что положено, села в кабину. Знакомое ощущение: рычаги под руками, панель с кнопками, обзор через большое лобовое стекло. Я вздохнула, включила систему и выехала из депо.

Первый рейс — в шесть сорок. Людей в такую рань немного, в основном такие же бедолаги, как я, которые вынуждены вставать ни свет ни заря. В салоне пахло сыростью от мокрой одежды, а на стекле за моей спиной уже начали рисовать инеем причудливые узоры.

Маршрут семнадцатого пролегал по югу Москвы: я знала этот маршрут наизусть, каждую остановку, каждый светофор, каждый поворот. Иногда мне казалось, что я могла бы вести трамвай по этому маршруту с закрытыми глазами. Что, впрочем, делать категорически не рекомендуется.

К восьми утра народу прибавилось. В салон набились люди — сонные, злые, закутанные в шарфы и шапки так, что

видны были только глаза. Кто-то слушал музыку в наушниках, кто-то читал в телефоне, кто-то просто смотрел в окно на серый московский пейзаж.

И тут я заметила его.

На остановке у перекрёстка стоял парень. Высокий, широкоплечий, в тёмном пальто, с лёгкой щетиной на лице и взъерошенными тёмно-русыми волосами. Он стоял, прислонившись к фонарному столбу, и смотрел на мой приближающийся трамвай. И, хотя лицо его было холодным и отстранённым, я его сразу узнала.

Стас

Тот самый Стас, друг моего сына, которого я не любила.

Я плавно притормозила, двери открылись, и он вошёл. Кивнул мне, как ни в чём не бывало, и остановился прямо у окна, между водителем и пассажирским салоном прямо по правую руку от меня.

— Доброе утро, Виктория Сергеевна, — сказал он негромко, и в его голосе мне почудилась лёгкая насмешка.

— Доброе, — буркнула я, не оборачиваясь.

Надо же, подумала я. Едет на моём трамвае. А где его хвалёная машина? Где этот его... как его там... HONGQI N9 тёмно-вишнёвого цвета? Неужели сломался? Или, может, решил побыть «ближе к народу»?

— Тёма дома? — спросил Стас, и я почувствовала, как внутри меня что-то неприятно шевельнулось.

— Дома. Спит ещё. А тебе зачем?

— Да так. Договорились встретиться после его пар. Передать кое-что.

Я промолчала. Не нравился мне этот разговор. Ох, как не нравился. Что-то в этом Стасе было такое... скользкое. Хотя внешне — да, красавец. Брутальный такой, с щетиной, с широкими плечами, вылитый спортсмен. И глаза карие, пронзительные, такие, что смотрят насквозь. Вот только взгляд у него был холодный, как у удава, а с моим сыном он вдруг становился... другим. Мягче, что ли. Внимательнее.

И вот эта перемена меня пугала больше всего.

— Стас, — начала я, не выдержав, — а чего ты вообще с моим Тёмой... дружишь-то? Он же тебе в сыновья годится.

Ну, почти — Стас усмехнулся. Одним уголком рта.

— Виктория Сергеевна, — сказал он медленно, — дружба возраста не спрашивает. Тёма — умный парень, перспективный. Мы с ним... на одной волне.

«На одной волне», — мысленно передразнила я. Нашли волну. Двадцать пять лет и восемнадцать. Что у них общего, кроме этих дурацких компьютеров?

Но вслух я ничего не сказала. Не хватало ещё устраивать сцену в трамвае на глазах у пассажиров.

— Ладно, — бросила я. — Приедешь — передавай что хочешь. Только смотри, чтобы он учёбу не забросил с этими вашими встречами.

Стас снова усмехнулся, но ничего не ответил, пройдя в салон и сел на переднее сидение. Так и проехал до своей остановки молча, глядя в окно на серую Москву, которая проплывала мимо, мокрая и неудобная.

Когда он вышел, я выдохнула с облегчением, будто из салона ушёл не человек, а какая-то гнетущая тяжесть.

— Вот же ж, — пробормотала я себе под нос. — И откуда

ты взялся на мою голову?

День тянулся бесконечно. Гололёд, о котором предупреждал Иван Петрович, дал о себе знать в полной мере. Пару раз трамвай юзом проходил повороты, и мне приходилось выкручивать руль так, что мышцы на руках сводило. Пассажиры вздыхали, кто-то ворчал, кто-то держался за поручни с таким лицом, будто прощался с жизнью.

К обеду я уже мечтала только об одном: добраться до депо, сдать смену и рухнуть дома на диван. елательно с котом на коленях и чашкой чая. И чтобы никто не трогал. И чтобы телефон молчал. И чтобы Стас не объявлялся.

Но судьба, как вы уже, наверное, догадались, распорядилась иначе.

В три часа дня, когда я, сдав смену, вышла из депо и направилась к своей красной крошке, у меня зазвонил телефон.

Звонил Артём.

— Мам, — голос у него был какой-то странный, взволнованный, — мам, ты домой скоро?

— Еду уже. А что случилось?

— Ничего... просто... Ты не могла бы по дороге заехать в аптеку? Купи... ну, там... бинт, перекись, пластырь...

— Что?! — я замерла на месте, чувствуя, как сердце ухает куда-то в пятки. — Тёма, что случилось?!

— Да ничего страшного, мам, честно. Просто... Стас руку порезал. Стеклом. Не сильно, но кровь идёт. А у нас дома ни бинта, ни перекиси.

— Стас?! — взвилась я. — А он-то что у нас делает?!

— Ну... в гости зашёл. Мы же договаривались.

— И как его угораздило порезаться?

— Да он стакан разбил. Случайно. Мам, ну правда, ничего страшного. Ты приедешь?

Я вздохнула так тяжело, что, кажется, спугнула голубей с проводов.

— Еду. И в аптеку заеду. И вот что я скажу, Тём... — я хотела добавить что-то про то, что нечего всяким Стасам

бить у меня в доме стаканы, но сдержалась. — Ладно. Ждите.

Села в машину, завела двигатель и выехала со стоянки. По дороге заскочила в аптеку — маленькую такую, круглосуточную, с вечно сонной продавщицей за прилавком, — купила бинт, перекись водорода, пластырь и, на всякий случай, йод. Про йод я, правда, сразу пожалела, потому что йод — это из моего детства, когда все ссадины лечили этой жуткой коричневой жижей, от которой щипало так, что искры из глаз.

Домой я летела, нарушая, наверное, все мыслимые и немыслимые правила. Хотя нет, не нарушая — я водитель с многолетним стажем, и даже в состоянии паники помнила, где можно ехать быстрее, а где нельзя. Просто очень хотелось поскорее добраться.

Поднялась на десятый этаж. Лифт, как назло, ехал медленно, будто специально испытывал моё терпение. Двери разъехались, и я выскочила в коридор, на ходу доставая ключи.

Дверь в квартиру была приоткрыта.

Странно, подумала я. Обычно мы всегда запираемся. Тёма же осторожный...

Я толкнула дверь и вошла.

В прихожей было тихо. Слишком тихо. Только из кухни доносилось какое-то странное шипение.

— Тёма? — позвала я. Тишина.

— Артём! Стас! Никто не ответил.

Я скинула ботинки, не глядя, и пошла на кухню. И замерла на пороге.

На полу кухни, возле стола, лежал Стас. Он был без сознания. Лицо бледное, как полотно, а из пореза на правой руке сочилась кровь, растекаясь по светлому линолеуму жутковатой тёмной лужей.

А рядом с ним, на корточках, сидел мой сын. Он держал Стаса за здоровую руку и что-то тихо, отчаянно шептал.

И вот в этот самый момент, глядя на бледное лицо Артёма, на его дрожащие губы, на слёзы, которые катились по щекам, на то, как он сжимает руку Стаса, я вдруг поняла. Поняла всё. Всё то, что я так старательно не хотела замечать последние полгода.

Поняла, что эта «непонятная дружба» между восемнадцатилетним мальчиком и двадцатипятилетним мужчиной — вовсе не дружба.

И от этого осознания у меня внутри всё оборвалось.

— Мам... — прошептал Артём, поднимая на меня заплаканные глаза. — Мам, вызови скорую. Пожалуйста. Только быстро.

Я смотрела на него, на Стаса, на лужу крови на полу, и в голове у меня билась одна-единственная мысль, глупая и неуместная:

«Господи, ну почему всё это случилось именно в понедельник?»

Глава 2

Знаете, есть такой момент в жизни каждой женщины, когда всё, что она знала о мире, в один миг перестаёт иметь значение. Когда земля не то что уходит из-под ног — она просто исчезает, и ты висишь в пустоте, и единственное, что удерживает тебя от падения, — это инстинкт. Тот самый древний, звериный инстинкт, который заставляет мать сначала спасти ребёнка, а уже потом разбираться, что произошло.

Именно этот инстинкт и поднял меня с места.

— Так, — сказала я голосом, который, к моему собственному удивлению, звучал совершенно спокойно, — отойди, Тёма. Дай посмотрю.

Артём не двинулся. Он сидел на корточках, вцепившись в руку Стаса, и смотрел на меня такими огромными, полными ужаса глазами, что у меня сердце сжалось в комок. Ему было восемнадцать, но сейчас, в этой полумрачной кухне, при свете тусклой лампочки, он выглядел лет на двенадцать. Напуганный мальчишка, который не знает, что делать.

— Тёма, — повторила я уже мягче, — отойди, сынок. Мне нужно посмотреть рану.

Он наконец послушался. Отпустил руку Стаса, поднялся на ноги, отступил к стене. Плечи у него тряслись. Он обхватил себя руками, будто пытаясь согреться, хотя в квартире было тепло.

Я опустилась на колени возле Стаса. Линолеум был холодный и липкий от крови. Тёмное пятно расплзлось из-под его правой руки, впитываясь в щели между плитами. Картина была, прямо скажем, не для слабонервных, но я, слава богу, за двенадцать лет работы на трамвае насмотрелась всякого. Драки на остановках, падения на рельсы, пьяные, режущие друг друга на задней площадке... Кровь меня не пугала. Пугало другое — то, что Стас был без сознания.

Я осторожно взяла его руку и осмотрела. Порез шёл по ладони, наискосок, от основания большого пальца к мизинцу. Глубокий. Очень глубокий. Края раны разошлись, и внутри, в кровавом месиве, я разглядела что-то белое — сухожилие, не иначе. Меня передёрнуло.

— Чем он порезался? — спросила я, не оборачиваясь.

— Стаканом, — всхлипнул Артём за моей спиной. — Он взял стакан, а тот... треснул прямо в руке. Наверное, был с дефектом. И осколок...

— Где осколки?

— Я убрал. В ведро.

Я кивнула. Осмотрелась. На полу, у ножки стола, валялось полотенце, насквозь пропитанное кровью. Видимо, Тёма пытался зажать рану, но безуспешно.

— Так, слушай меня внимательно, — сказала я, доставая телефон. — Сейчас я вызываю скорую. Ты мне нужен здесь, в сознании и без истерики. Понял?

Артём кивнул, но глаза у него всё равно были как у загнанного зверька.

Я набрала 112. Пальцы чуть дрожали, но я заставила себя говорить чётко и по делу. Адрес: улица Липецкая, дом пятнадцать, корпус один, квартира такая-то. Мужчина, двадцать пять лет, глубокий порез ладони, сильное кровотечение, без сознания. Диспетчер что-то уточняла, я отвечала, а сама краем глаза следила за Стасом. Грудь его вздымалась — неровно, но вздымалась.

Живой

Слава богу.

— Скорая выехала, — сказала я, убирая телефон. — Теперь давай-ка приподнимем ему руку повыше. Кровотечение надо остановить.

Вдвоём мы кое-как уложили Стаса поудобнее. Я подложила ему под голову свёрнутую куртку, а раненую руку приподняла и зафиксировала, насколько это было возможно. Из аптечного пакета достала бинт и перекись. Перекись зашипела на ране белой пеной, кровь пошла сильнее на секунду, а потом вроде как начала останавливаться. Я туго забинтовала ладонь, стараясь не думать о том, что я, в общем-то, не врач, а водитель трамвая.

— Почему ты сразу скорую не вызвал? — спросила я, не глядя на сына.

— Я... я растерялся, — тихо ответил Артём. — Сначала думал, ерунда. А потом он побледнел, стал заваливаться и... упал. И я испугался. Позвонил тебе.

— Правильно, что позвонил. А скорую надо было тоже сразу.

— Я не сообразил, мам. Прости.

Я вздохнула. Ладно. Что теперь ругаться-то.

Стас пошевелился. Губы его дрогнули, ресницы затрепетали. Он застонал — тихо, сквозь зубы, — и попытался приподнять голову.

— Лежи, — резко сказала я. — Лежи и не дёргайся. Скорая едет.

Он открыл глаза. Карие, мутные, с расширенными зрачками. Секунду смотрел в потолок, потом перевёл взгляд на меня, потом — на Артёма.

— Тёма... — прохрипел он.

— Я здесь, — Артём метнулся к нему, снова схватил за здоровую руку. — Я здесь, Стас. Всё будет хорошо. Скорая едет.

И вот опять. Опять этот взгляд. Стас смотрел на моего сына — и лицо его, обычно холодное и отстранённое, как у статуи, вдруг смягчилось. В глазах появилось что-то тёплое, нежное, почти... беспомощное. Так смотрят не на друга. Так смотрят на самое дорогое, что есть в жизни.

У меня внутри всё перевернулось.

— Мам, — позвал Артём, не оборачиваясь, — можно ему воды?

— Нельзя, — отрезала я. — До приезда врачей. Ни еды, ни питья. Мало ли, вдруг операция понадобится.

— Операция? — Артём побледнел ещё сильнее. — Ты думаешь...

— Я ничего не думаю. Я жду врачей. А ты сядь и успокойся.

Скорая приехала минут через двадцать, хотя мне они показались вечностью. Два санитар, молодой фельдшер с усталым лицом и женщина-врач, крепкая, деловитая, с такими руками, которые, судя по всему, не раз уже вытаскивали людей с того света.

Пока они осматривали Стаса, я стояла в дверях кухни и молча наблюдала. Врач быстро, профессионально размотала мой бинт, посмотрела рану, неодобрительно покачала головой.

— Глубокий порез, повреждено сухожилие, — констати-

ровала она. — Нужна хирургическая обработка. Без сознания он был?

— Был, — ответила я. — Минуты три-четыре, не больше. Потом очнулся.

— Потеря крови приличная. Давление низкое. Везём в больницу.

— В какую?

— В ту, что поближе. С хирургией. Давайте, молодой человек, — обратилась она уже к Стасу, — вставляйте потихоньку.

Стас попытался подняться сам, но его качнуло, и санитары подхватили его под руки. Артём бросился помогать, но врач остановила его жестом.

— Вы кто ему? Родственник?

— Я... — Артём замялся. — Друг. Я друг.

— Другьям в машину скорой нельзя. Приедете сами, на своей. Или на такси.

— Я его не брошу, — твёрдо сказал Артём.

Врач взглянула на него с лёгкой улыбкой, в которой было что-то материнское.

— Никто и не просит бросать. Приедете в приёмный покой, спросите, куда его определили. Адрес я сейчас скажу.

Она назвала адрес больницы. Я записала в телефон.

Стаса, бледного как мел, повели к лифту. В дверях он обернулся, нашёл глазами Артёма и попытался улыбнуться — вымученно, одними губами.

— Не дрейфь, Тёмик, — прохрипел он. — Я живучий.

— Тёмик, — эхом повторила я про себя, и меня почему-то передёрнуло. Тёмик. Так его называл только Стас. Я всегда звала сына Тёмой или Артёмом, а вот Стас придумал это дурацкое уменьшительное, и оно резало мне слух, как ножом по стеклу. Теперь я, кажется, начинала понимать, почему.

Когда дверь за медиками закрылась, в квартире повисла такая тишина, что слышно было, как на кухне капает кран. Кап. Кап. Кап. Ровно, монотонно, как метроном, отсчитывающий мою новую, внезапно изменившуюся жизнь.

Артём стоял посреди прихожей, опустив плечи, и смотрел на закрытую дверь. По щекам его снова текли слёзы — молча, без всхлипов. Он их не вытирал.

— Тёма, — позвала я тихо.

Он вздрогнул, будто забыл о моём существовании, и обернулся. В глазах — страх, растерянность и что-то ещё. Что-то такое, чего я раньше у него не видела. Или не хотела видеть.

— Пойдём на кухню, — сказала я. — Поговорим.

— Мам, я...

— Пойдём, — повторила я уже твёрже. — Надо убрать этот... беспорядок. И поговорить.

Мы прошли на кухню. Я налила воды в ведро, взяла тряпку и принялась отмывать с пола кровь. Тёмные разводы сходили плохо, въедались в линолеум. Вода в ведре быстро стала бурой. Артём стоял у окна, глядя на вечернюю Москву, на огни МКАДа, на бесконечный поток машин, который не останавливался ни на минуту, будто этому городу не было никакого дела до того, что у меня на кухне только что чуть не умер человек.

— Мам, — наконец сказал Артём, и голос его прозвучал глухо, — я знаю, что ты хочешь спросить.

— Правда? — я подняла голову. — И что же я хочу спросить?

— Про нас со Стасом.

Я промолчала. Тряпка в моей руке замерла над ведром.

— Ты ведь уже всё поняла, да? — он повернулся ко мне. — Ты умная, мам. Ты всегда всё понимаешь. Даже то, о чём тебе не говорят.

— Тёма, — я отложила тряпку, выпрямилась, — я хочу услышать это от тебя.

Он смотрел на меня. Долго. Потом глубоко вздохнул — так, будто прыгал в ледяную воду, — и сказал:

— Стас — мой парень. Мой. Я... я гей, мам.

Вот так. Просто. Тихо. И от этих слов у меня почему-то не разорвалось сердце, как я боялась, и не обрушился потолок. Мир не перевернулся. Просто всё вдруг встало на свои места.

Как пазл, в котором я долго не могла найти нужный кусочек, а он, оказывается, всё это время лежал у меня перед носом.

Вот почему Стас, взрослый, состоявшийся мужчина, так носился с моим сыном. Вот почему эти дорогие подарки. Вот почему это дурацкое «Тёмик». Вот почему эти взгляды. Вот почему котята породы Саванна на день рождения, какого у Артёма отродясь не было.

Я медленно опустилась на табурет. Ноги вдруг стали ватными.

— И давно это у вас? — спросила я.

— Полгода, — ответил Артём, глядя куда-то в пол. — Почти полгода. Познакомились... ну, через общих знакомых. Он тогда на работу меня звал, консультацию какую-то хотел. А потом... завертелось.

— Ты поэтому с ним вечно пропадаешь? Все эти твои «дополнительные занятия», «подготовка к экзаменам»...

— И поэтому тоже, — признался он. — Мне жаль, что я тебе врал. Но я боялся.

— Чего ты боялся?

— Что ты не поймёшь. Что будешь... разочарована. Что отвернёшься от меня.

Я закрыла глаза. Господи. Мой сын боялся, что я от него отвернусь. Мой мальчик, мой Тёма, который полгода носил в себе этот груз, этот страх, эту тайну. И я, его мать, вместо того чтобы заметить, вместо того чтобы поддержать, строила из себя обиженную свекровь, которая не одобряет «странного друга» сына.

— Тёма, — я встала и подошла к нему, — посмотри на меня.

Он поднял глаза. Голубые, заплаканные, огромные. В них было столько страха и надежды одновременно, что у меня сжалось горло.

— Я не отвернусь от тебя, — сказала я твёрдо.

— Слышишь? Никогда. Что бы ни случилось. Ты мой сын, и я тебя люблю. Точка.

Он всхлипнул, шагнул ко мне и уткнулся лицом в плечо. Я обняла его, худого, напряжённого, и почувствовала, как он дрожит — то ли от холода, то ли от облегчения, то ли от

всего сразу.

— Мам, — прошептал он куда-то мне в свитер, — спасибо.

— За что, глупый?

— За то, что ты такая.

Мы стояли так посреди кухни, посреди лужи немытой крови, посреди этого сумасшедшего понедельника, и я гладила сына по кудрявой голове, и думала о том, какая же я всё-таки была слепая.

— Так, — сказала я наконец, отстраняя его, — слёзы вытерли. Вопрос со Стасом мы с тобой обсудим, но позже. Сейчас надо ехать в больницу. Ты как, соберёшься?

— Конечно, — Артём быстро смахнул слёзы. — Поехали.

— Только переоденься. Ты весь в крови.

Он глянул на себя, будто только сейчас заметил, что его светлая толстовка была в тёмных пятнах. Кивнул и ушёл в комнату.

Я вымыла руки, переоделась в чистое, натянула куртку. Поймала на кухне Кубика, который уже начал принюхиваться к ведру с бурой водой, и отогнала его.

— Брысь, бандит, — шикнула я. — Нечего тебе тут.

Кот обиженно фыркнул и удалился в комнату, всем своим видом показывая, что он тут главный и что он ещё вернётся проверить эту загадочную лужу.

Через десять минут мы с Артёмом уже спускались в лифте. В кабине пахло так же, как обычно, — сыростью и чужими жизнями. На полу красовалась новая надпись: «Петя, верни долг». Кто-то, видимо, очень настойчивый.

— Мам, — вдруг сказал Артём, не глядя на меня, — а ты... не злишься на Стаса?

Я подумала. Злюсь ли я? Сложный вопрос. Ещё утром я бы ответила, что этот Стас мне не нравится, что он мне подозрителен, что я ему не доверяю. А теперь... Теперь всё изменилось. Но злость — нет, злости не было.

Была растерянность. Была усталость. Была тревога за сына. Но не злость.

— Я не злюсь, — честно ответила я. — Мне нужно время, чтобы... привыкнуть. Ко всему этому. Но не злюсь.

Лифт остановился. Двери разъехались. Мы вышли в подъезд, потом на улицу.

Вечерняя Москва встретила нас мокрым снегом и ветром. Двор был освещён жёлтыми фонарями, и в этом свете мокрый асфальт блестел, как чёрное зеркало. Мой красный Smart стоял на своём месте, присыпанный снегом, и смотрел на меня круглыми фарами, будто спрашивая: «Ну что, опять куда-то едем?»

— Поехали, крошка, — пробормотала я, садясь за руль.
— У нас сегодня, похоже, бессонная ночь.

Дорога до больницы заняла минут сорок. Москва стояла в пробках даже вечером, и я, руля по скользким улицам, всё время ловила себя на том, что кошусь на Артёма. Он сидел на пассажирском сиденье, прижавшись лбом к холодному стеклу, и молчал. Лицо у него было бледное, задумчивое, и в отсветах фар оно казалось совсем детским.

— О чём думаешь? — спросила я, чтобы прервать тягостное молчание.

— О нём, — просто ответил Артём. — Вдруг с рукой что-то серьёзное. Вдруг не восстановится. Он же... ему же работать надо, мам. Он на клавиатуре печатает, у него вся работа в руках.

— Врачи сказали — сухожилие. Это лечится. Операция, потом реабилитация. Всё восстановится.

— Ты правда так думаешь?

— Я не думаю. Я знаю. Медицина сейчас такая, что руки пришивают обратно. А тут всего лишь порез.

Артём слабо улыбнулся.

— Ты умеешь успокоить.

— Это у меня профессиональное, — усмехнулась я. — Двенадцать лет успокаиваю пассажиров, которым кажется, что трамвай сейчас сойдёт с рельсов.

Больница оказалась типовой многоэтажкой из серого кирпича, обнесённой кованым забором. В приёмном покое пахло хлоркой, лекарствами и тревогой — тем особенным запахом, который, кажется, одинаков во всех больницах мира. На жёстких скамейках сидели люди: кто-то с замотанной голо-

вой, кто-то с перевязанной рукой, кто-то просто ждал, уставившись в одну точку.

Я подошла к окошку регистратуры. За стеклом сидела женщина в белом халате, с усталым лицом и причёской, которая видала лучшие времена.

— Здравствуйте, — сказала я. — К вам недавно привезли мужчину. Порез ладони, потеря крови. Стас... — я запнулась, сообразив, что не знаю фамилии Стаса. — Молодой человек, двадцать пять лет.

— Фамилия? — не поднимая глаз, спросила регистраторша.

— Я... — я обернулась к Артёму. Тот шагнул вперёд.

— Волков, — сказал он тихо. — Станислав Волков. Его на скорой привезли с Липецкой.

Регистраторша пощёлкала мышкой, взгляделась в монитор.

— Волков... да, есть. Поступил, его сейчас в хирургию готовят. Сядьте, подождите. Врач выйдет, скажет.

— А можно узнать, как он?

— Ждите врача. Не мешайте.

И отвернулась к своему монитору.

Мы с Артёмом нашли свободную скамейку в углу, подальше от всех. Сели. В приёмном покое было душно и жарко, от батарей шло такое тепло, что хотелось снять куртку. Я расстегнулась, огляделась. Люди входили и выходили, врачи сновали туда-сюда с серьёзными лицами, где-то в глубине коридора плакал ребёнок.

Артём сидел, сцепив руки в замок, и беззвучно шевелил губами. То ли молился, то ли просто разговаривал сам с собой. Я не стала спрашивать.

Время тянулось медленно, как смола. Минут через сорок из-за двери с табличкой «Хирургическое отделение» вышел врач — тот самый фельдшер, что приезжал к нам, только теперь в зелёной шапочке и халате. Он оглядел зал и направился прямо к нам.

— Вы с Липецкой? К Волкову?

— Да! — Артём вскочил. — Как он?

— Нормально. Операция прошла успешно. Сухожилие сшили, рану обработали. Сейчас он в палате, отходит от наркоза. Состояние стабильное.

— Спасибо, доктор, — выдохнул Артём, и на его лице впервые за весь вечер появилось что-то похожее на облегчение.

— Пусть полежит пару дней под наблюдением, — продолжал врач. — Потом выпишем, если всё будет хорошо. Кисть беречь, разрабатывать. Месяца через полтора-два восстановится полностью.

— А... — Артём замялся, — а можно его увидеть?

— Сейчас нет. Он после наркоза, ему нужен покой. Приходите завтра, в часы посещений. С двух до четырёх.

— Спасибо, — повторил Артём.

Врач кивнул и ушёл, а мы ещё какое-то время стояли посреди приёмного покоя, будто не зная, что делать дальше.

— Поехали домой, — сказала я, беря сына за локоть. — Завтра приедем. Ему сейчас покой нужен.

Артём кивнул, но не двинулся с места. Он смотрел на дверь хирургического отделения, будто надеялся, что оттуда вот-вот выйдет Стас — живой, здоровый, и скажет что-нибудь вроде «Тёмик, не дрейфь».

— Поехали, Тём, — повторила я мягче. — Завтра. Обещаю.

Он наконец посмотрел на меня, и я увидела, что глаза у него снова на мокром месте.

— Мам, — сказал он, — я его люблю. Правда. По-настоящему.

Я сглотнула комок в горле.

— Я поняла, сынок. Поехали домой.

Обратная дорога была тихой. Снегопад усилился, и я вела машину осторожно, глядя в белую пелену за стеклом. Дворники мотались туда-сюда, счищая с лобового стекла мокрый снег, а я думала о том, как быстро рушится привычный мир. Ещё утром я была просто Викторией Непоседой, водителем трамвая, матерью взрослого сына. А теперь... теперь я была матерью, которая только что узнала,

что её сын — гей. И что его парень — тот самый Стас, которого я столько месяцев не выносила. И что этот самый Стас чуть не истёк кровью у меня на кухне.

И, как ни странно, мысль эта уже не пугала. Скорее — удивляла. И немного... смущала.

Дома нас встретили котята. Кубик выскочил в прихожую, громко требуя объяснений, куда это мы пропали без него на целую вечность. Ая вышла следом, грациозно потягиваясь, и посмотрела на нас с таким выражением, будто хотела сказать: «Ну наконец-то. Я уже начала волноваться, что придётся ужинать в одиночестве».

Я накормила зверей, заварила чай, села на диван. Артём ушёл в свою комнату, сказав, что хочет побыть один. Я не возражала. Ему действительно нужно было побыть одному — переварить всё, что случилось за этот безумный день.

А я сидела на диване, пила чай, смотрела в тёмное окно и думала.

Думала о Стасе. О том, каким я его видела все эти полгода — холодным, колючим, отстранённым. И о том, каким он был сегодня — бледным, беспомощным, и в то же время таким... человеческим. «Не дрейфь, Тёмик». И этот взгляд,

полный нежности, который он не смог спрятать даже уходя, на пороге.

Может, я ошибалась на его счёт? Может, за этой колючей бронёй скрывается что-то, чего я не видела — или не хотела видеть?

Я вздохнула, допила чай и поставила чашку на стол. Кубик тут же запрыгнул ко мне на колени, потоптался и улёгся, громко мурча.

— Ну что, бандит, — пробормотала я, почёсывая его за ухом, — кажется, у нас с тобой теперь новая жизнь. И, подозреваю, она будет той ещё каруселью.

Кот прищурился и замурчал ещё громче. Словно соглашался.

За окном шёл снег — густой, плотный, такой, каким он бывает только в середине декабря, когда зима наконец вступает в свои права. Белые хлопья кружились в свете фонарей и ложились на землю, укрывая собой и грязные лужи, и мокрый асфальт, и мои всклокоченные мысли.

А где-то в палате хирургического отделения лежал Стас Волков, и в его зашитой руке медленно, клетка за клеткой,

срасталось сухожилие, которое он повредил о разбитый стакан на моей кухне.

И я вдруг поймала себя на том, что мне почему-то не всё равно, как он там.

Глава 3

Утро вторника началось с того, что я проснулась от собственного будильника, которого, как мне показалось, я не слышала по меньшей мере сто лет. Хотя, если честно, заснула я только под утро — всю ночь ворочалась, прокручивала в голове события вчерашнего дня и всё никак не могла найти им хоть какое-то логичное объяснение.

За окном было всё так же серо и мокро, будто природа решила, что декабрь — это такое специальное время, когда можно не стараться. Снег, выпавший ночью, к утру превратился в мерзкую кашу, по которой с чавканьем ползли машины, обдавая прохожих грязными брызгами. Я лежала под одеялом, смотрела в потолок и пыталась заставить себя встать.

Не хотелось. Совсем не хотелось. Хотелось накрыться с головой и притвориться, что вчерашнего дня не было. Что не было крови на линолеуме, не было скорой, не было этого признания в кухне, от которого у меня до сих пор всё внутри переворачивалось.

Но так уж устроена жизнь: она не спрашивает, хочешь ты вставать или нет. Она просто наступает на тебя, как трамвай

на рельсы, и единственное, что тебе остаётся, — идти вперёд.

Кубик, разумеется, был уже тут как тут. Он сидел у меня на подушке, наклонив голову, и смотрел на меня с таким выражением, будто хотел сказать: «Ну? И долго ты собираешься валяться? Тут, между прочим, коты не кормлены, лоток не убран, а ещё у нас, по моим сведениям, намечается поездка в больницу, и я хочу быть в курсе».

— Встаю, — буркнула я, сталкивая кота с подушки. — Куда ты денешься от меня.

Кот обиженно прыгнул, но обида его была недолгой — уже через минуту он с энтузиазмом носился по квартире, гоня невидимую мышь, а Ая, как и положено леди, восседала на подоконнике и наблюдала за этим безобразием с высоты своего кошачьего достоинства.

Я поставила чайник, покормила зверей, выпила кофе. Артём ещё спал. Вчера он лёг поздно, я слышала, как он долго ворочался в своей комнате, и несколько раз порывалась зайти, но так и не решилась. Ему нужно было время. Нам обоим нужно было время.

Я позвонила в депо и предупредила, что сегодня возьму отгул. Иван Петрович, услышав, что у меня «семейные об-

стоятельства», не стал расспрашивать — за что ему отдельное спасибо. Сказал только: «Отдыхай, Виктория, на линии без тебя справятся. Не такие уж мы и безрукие».

Вот так, подумала я, кладя трубку. Оказывается, чтобы взять отгул, достаточно сказать «семейные обстоятельства». А я-то, дура, двенадцать лет отпахала, боясь лишний раз отпроситься.

К десяти Артём проснулся. Вышел из комнаты, заспанный, с всклокоченными кудрями, в мятой футболке, и уставился на меня так, будто не ожидал увидеть дома.

— Мам? А ты чего дома? — спросил он хрипло.

— Отгул взяла. Поедем в больницу. Ты не забыл, что сегодня посещение?

Он моргнул, будто только сейчас вспомнил, что вчера вообще-то случилось, и в его глазах снова промелькнуло то самое выражение — смесь страха и надежды.

— Не забыл. А можно... — он замялся, — можно я сегодня один? Ну, без тебя?

— Нет, — твёрдо сказала я. — Поедем вместе. Мне нужно

с ним поговорить.

— О чём?

— Обо всём, — уклончиво ответила я. — Иди завтракай. И приведи себя в порядок. А то похож на домового, который всю ночь печку разбирал.

Артём слабо улыбнулся и поплёлся в ванную.

В больницу мы выехали в час дня. Погода не улучшилась ни на градус: всё тот же мокрый снег, всё тот же пронизывающий ветер, всё та же бесконечная московская серость. Я вела машину и украдкой поглядывала на сына. Он сидел, прижимая к груди пакет с апельсинами и каким-то соком, которые мы купили по дороге в круглосуточном магазине.

— Думаешь, ему можно апельсины? — спросил вдруг Артём, глядя на пакет.

— Врач сказал — состояние стабильное. Значит, можно. Витамины ещё никому не вредили.

— Ну, если только на них нет аллергии.

— А у него есть?

Артём задумался.

— Вроде нет. Он вообще редко болеет. Здоровый как бык.

— Это хорошо, — кивнула я. — Значит, быстро восстановится.

Остаток пути мы проехали молча. Каждый думал о своём. Я — о том, как буду смотреть в глаза человеку, которого полгода считала чуть ли не врагом, и который теперь, оказывается, любит моего сына. Артём — наверное, о том, как там Стас, и не злится ли он, что Артём оставил его одного.

Больничный запах ударил в нос, как только мы вошли в вестибюль. Хлорка, лекарства, и ещё что-то неуловимое, от чего на душе становилось неуютно. Я почему-то с детства не любила больницы. Может, потому, что в них слишком много чужой боли, слишком много тревоги, разлитой в воздухе, как запах.

Часы посещений — с двух до четырёх. Мы приехали раньше, пришлось ждать в холле, на тех же жёстких скамейках, что и вчера. Артём нервничал: то вставал, то садился, то принимался листать что-то в телефоне, то откладывал его в сторону. Я наблюдала за ним и молчала. Ему нужно было пере-

гореть.

В два часа дня мы наконец поднялись на третий этаж, в хирургическое отделение. Пахло там ещё сильнее, чем внизу, и в воздухе стоял тот особенный больничный гул — приглушённые голоса, скрип каталок, писк приборов.

Палата была четырёхместная. Три койки пустовали, на четвёртой, у окна, лежал Стас.

Увидев его, я на секунду опешила. Это был не тот brutальный, собранный парень, которого я привыкла видеть. В больничном халате, бледный, с перебинтованной рукой на подушке, с тёмными кругами под глазами и той самой щетиной, которая за сутки стала ещё заметнее, он выглядел... уставшим. И каким-то незащищённым, что ли. Таким, каким я его никогда не видела.

— Тёмик, — первым сказал он, и губы его тронула слабая улыбка. — Пришёл.

Артём бросился к нему, чуть не опрокинув стул, и уселся на край кровати, осторожно, будто боясь сделать ему больно.

— Как ты? — спросил он, заглядывая Стасу в лицо. — Больно?

— Терпимо, — ответил Стас. — Колют что-то, так что почти не чувствую. Ты чего припёрся? Тебе же на пары.

— Какие пары, — отмахнулся Артём. — Я отпросился.

— Зря. Учёба важнее.

— Учёба подождёт, — отрезал Артём. — Ты важнее.

Стас перевёл взгляд на меня, и улыбка его погасла. Лицо снова стало привычным — холодным, настороженным, с той самой колючестью во взгляде, которую я так хорошо знала.

— Виктория Сергеевна, — кивнул он. — И вы здесь.

— Я здесь, — подтвердила я, проходя в палату и садясь на стул у изножья кровати. — Как видишь.

Повисла пауза. Тяжёлая, вязкая, как кисель. Артём переводил взгляд с меня на Стаса и обратно, нервно теребя край одеяла.

— Тёма, — сказала я наконец, — выйди-ка на пару минут. Нам со Стасом нужно поговорить. С глазу на глаз.

— Мам, я...

— Выйди, — повторила я мягко, но таким тоном, что возражения не принимались. — Ничего страшного не случится. Я не буду его есть. Он, между прочим, после операции.

Артём помялся, бросил на Стаса тревожный взгляд, потом нехотя поднялся.

— Я в коридоре, — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь, и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Мы остались вдвоём.

Стас смотрел на меня в упор. В его карих глазах читалась настороженность — как у человека, который всю жизнь привык держать оборону и не знает, чего ждать от собеседника. Я тоже молчала, собираясь с мыслями. С чего начать? С того, что я всё знаю? Или с того, что я, возможно, была несправедлива? Или с вопроса, который мучил меня всю ночь?

— Артём мне всё рассказал, — сказала я наконец. — Вчера. После того как тебя увезли.

Стас не дрогнул. Только чуть прищурился.

— И что именно «всё»? — спросил он ровно.

— Про вас двоих. Про то, что вы... встречаетесь. Уже полгода.

— Встречаемся, — повторил он, будто пробуя это слово на вкус. — Ну да. Встречаемся. И что теперь, Виктория Сергеевна? Будете меня гнать? Запрещать ему со мной видеться?

— А ты всегда такой? — не выдержала я.

— Какой?

— Колючий. На каждый вопрос — сразу в атаку. Я ведь ещё ничего не сказала, а ты уже ошетинился.

Стас помолчал, отвёл взгляд к окну. За стеклом шёл снег — ленивый, редкий, будто и он устал за эти дни.

— Привычка, — негромко сказал он. — Защитная. У меня, знаете ли, не было в жизни повода расслабляться.

— Что это значит?

— А то, — он снова посмотрел на меня, — что всю жизнь

приходится что-то скрывать. От родителей, от коллег, от всех. Привыкаешь жить в панцире. Панцирь, он... защищает.

Я смотрела на него и впервые за полгода, кажется, начала видеть. Не «подозрительного взрослого мужика, который липнет к моему сыну», а человека. Уставшего. Одинокого. Привыкшего к тому, что его не понимают и не примут.

— Стас, — сказала я медленно, — я пришла не скандалить. И не запрещать. Я пришла, чтобы... понять.

— Понять что?

— Всё. Тебя. Тёму. Ваши отношения. То, почему мой сын боялся мне признаться. То, почему ты прячешься ото всех.

Он усмехнулся — невесело, одними губами.

— Вы хотите понять за один разговор то, что я сам в себе годами не могу разобрать.

— А ты попробуй объяснить. Может, у нас двоих получится лучше, чем у тебя одного.

Стас долго смотрел на меня. Потом медленно сел на кро-

вати, морщась от боли в руке, и я заметила, как дрогнула повязка.

— Лежи, — сказала я. — Не надо вставать.

— Я лучше сидя, — ответил он. — Не люблю говорить снизу вверх.

Я не стала спорить. Он откинулся на подушку, пристроил перебинтованную руку на коленях и, глядя куда-то в стену, заговорил. Тихо, ровно, будто рассказывал не мне, а самому себе.

— Мне двадцать пять. иву один, работаю. Машина, квартира, хорошая зарплата. Со стороны — всё есть, живи да радуйся. Только вот... — он усмехнулся, — вся эта жизнь — наполовину враньё.

— В каком смысле?

— В прямом. На работе никто не знает, что я гей. Если узнают... — он покачал головой, — ну, вы понимаете. У нас коллектив такой, что лучше не рисковать. Друзья... у меня их, по большому счёту, нет. Есть приятели, с которыми можно выпить пива и поговорить о футболе, но это не друзья. Родители... — он запнулся. — Родители живут в другом го-

роде. Мы созваниваемся раз в месяц, не чаще. Про то, что я гей, они не знают. И, наверное, никогда не узнают.

— Почему?

— Потому что для них это... — он снова запнулся, подбирая слова, — это будет удар. Отец у меня военный. Отставник. С его понятиями... В общем, неважно. Я просто не хочу их расстраивать.

— И поэтому ты прятешься? Всю жизнь в панцире?

— Поэтому. Панцирь удобнее, чем открытые раны. Я примерил его давно, ещё в школе, и с тех пор не снимаю.

— А с Тёмой? — спросила я. — С ним ты тоже в панцире?

Стас замолчал. Лицо его изменилось — стало мягче, и я снова увидела того самого человека, который вчера, на пороге моей квартиры, смотрел на моего сына с такой нежностью, что у меня сжималось сердце.

— С ним нет, — тихо сказал он. — С ним я... настоящий. Понимаете, Виктория Сергеевна, со всеми остальными я должен быть холодным. Потому что если расслабиться, если показать, какой я на самом деле, — всё. Съедят. А с Тё-

миком... с ним я могу быть собой. Он — единственный человек, рядом с которым я не притворяюсь.

— Почему он?

Стас пожал плечами.

— Не знаю. Не умею объяснять такие вещи. Просто... он меня видит. Настоящего. И не боится. И не презирает. И не ждёт, что я буду кем-то другим. Он просто... есть. И этого достаточно.

Я смотрела на него и чувствовала, как что-то во мне медленно, но верно меняется. Та самая неприязнь, которую я лелеяла полгода, таяла, как снег под весенним солнцем. И на её месте оставалось... что-то другое. Сочувствие, может быть. Или уважение. Или просто понимание.

— А те семь лет разницы? — спросила я. — Тебя не смущает, что он младше?

— Смущало, — честно ответил Стас. — Поначалу. Думал, ну что у нас может быть общего. А потом понял, что возраст — это просто цифры в паспорте. Тёмик умнее и взрослее многих, кому за тридцать. И при этом в нём есть такая... чистота, что ли. Наивность. Он ещё не успел стать цинич-

ным, как все вокруг.

— А ты циничный?

— Я — да. Уже. К сожалению. Может, поэтому он мне и нужен. Чтобы помнить, каким можно быть, когда тебя ещё не поломали.

Мы снова замолчали. За окном падал снег. В коридоре кто-то катил каталку, и звук этот был тяжёлым, монотонным, как биение сердца.

— Стас, — сказала я, — а почему ты сразу не сказал? Мне. Почему вы оба полгода скрывали?

Он поднял на меня глаза.

— А вы бы поняли? — спросил он просто. — Вот честно. Полгода назад, если бы Тёмик пришёл и сказал: «Мам, я гей, а это мой парень Стас, ему двадцать пять», — вы бы поняли?

Я открыла рот, чтобы ответить, и... не смогла. Потому что честного ответа у меня не было. Полгода назад я, наверное, не поняла бы. Испугалась бы. Начала бы скандалить, запрещать, обвинять Стаса во всех смертных грехах. Я ведь, честно говоря, и так его обвиняла — просто молча, про себя.

— Вот видите, — невесело усмехнулся Стас. — Поэтому и не сказали. Боялись, что вы нас не примете. А терять вас Тёмик не хотел. Он вас очень любит, знаете. Постоянно о вас говорит. «Маме бы понравилось», «мама бы оценила»... Он боялся этого разговора больше, чем вы можете себе представить.

— А ты?

— Что я?

— Ты боялся? Стас помолчал.

— Боялся, — признался он. — Только не за себя. За него. Что вы его выгоните, или устроите скандал, или... ну, не знаю, начнёте лечить. Знаете, как бывает. Он вас боится потерять, а я боялся, что потеряет. Это разные вещи.

Я смотрела на него, и в груди у меня что-то сжималось. Тёплое, щемящее. Чувство, которое я не могла до конца определить.

— Я не выгоню его, — сказала я. — И лечить не буду. Я... мне нужно время, чтобы всё это принять. Но я не отвернусь от сына. И от тебя, раз уж вы теперь... — я запнулась, — раз

уж вы вместе.

Стас поднял на меня глаза, и в них впервые за всё время промелькнуло что-то похожее на благодарность.

— Спасибо, — тихо сказал он. — Это... это больше, чем я ожидал.

— А что ты ожидал? Что я приду сюда с вилами?

— Честно? Примерно.

— Дурак, — фыркнула я, но уже без злости. — Вилы у меня, между прочим, в депо остались. В трамвайном.

Стас хмыкнул, и на его губах появилась та самая улыбка, которую я вчера видела в дверях. Не холодная усмешка, а нормальная человеческая улыбка. И от этой улыбки он вдруг стал совсем другим — моложе, проще, живее.

— Ладно, — сказала я, поднимаясь, — пойду позову Тёму. А то он там, небось, весь извёлся.

— Подождите, — остановил меня Стас. — Ещё один момент.

— Что?

— Вы вчера... — он замялся, — вы видели, как я... ну, этот взгляд. В дверях. Я не хотел, чтобы так получилось.

— Что получилось?

— Что вы всё так узнаете. Не так я себе это представлял. Хотел когда-нибудь рассказать. По-нормальному. А получилось вот так, с кровью и скорой.

— В жизни всё получается не так, как представляешь, — философски заметила я. — Это нормально. Главное, что ты жив и руку починили.

— И что вы теперь знаете.

— И что я теперь знаю, — согласилась я. — Знаешь, может, оно и к лучшему. Сколько можно было тянуть?

Я пошла к двери, но у порога обернулась.

— Стас, — позвала я.

— Да?

— Тёма сказал, ты порезался о стакан. С дефектом.

— Ну да. Бывает. Взял стакан, а он треснул.

— А стакан-то откуда был?

Стас нахмурился, будто вспоминая.

— Из серванта. В кухне. Ну, там, где у вас хрусталь стоит. Я взял, чтобы воды налить.

Я кивнула, хотя внутри у меня что-то кольнуло. Из серванта. Хрусталь. Старый бабушкин хрусталь, который я не трогала годами. И вдруг — треснул в руке? Стакан, который пережил переезды, мойки, годы и годы...

— Ладно, — сказала я, отгоняя странное чувство. — Выздоровливай. Тёму позову.

И вышла в коридор.

Артём стоял у окна, нервно кусая губу, и смотрел на падающий снег. Увидев меня, он дёрнулся, будто ожидал приговора.

— Ну что? — выпалил он. — Как всё прошло?

— Нормально, — ответила я. — Иди к нему. Он тебя ждёт.

— А ты?..

— А я посижу здесь. Поговорите. Вам есть о чём.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.